

ФРАНЦ

КАФКА

ДНЕВНИКИ
1910–1923

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Франц Кафка
Дневники. 1910–1923

«Издательство АСТ»

1910–1923

УДК 821.112.2-6(436)
ББК 84(4Авс)-4

Кафка Ф.

Дневники. 1910–1923 / Ф. Кафка — «Издательство АСТ», 1910–1923 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-177653-4

«Дневники» Франца Кафки — записи, сделанные в период с 1910 по 1923 год. Он описывал повседневные переживания, наблюдения и сны, составлял автобиографические заметки и планы будущих работ, записывал случайные мысли и впечатления, отрывки из прочитанных книг. В них сны переплетаются с реальностью, сознание — с подсознанием. Шаг за шагом, мгновение за мгновением — и, сам того не желая, читатель постепенно погружается во внутренний мир писателя: в мир, где гениальность почти безумна, а боль — мучительно притягательна... В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.112.2-6(436)

ББК 84(4Авс)-4

ISBN 978-5-17-177653-4

© Кафка Ф., 1910–1923
© Издательство АСТ, 1910–1923

Содержание

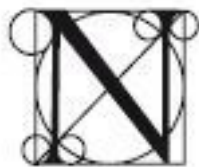
1910	6
1911	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Франц Кафка

Дневники, 1910–1923

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с немецкого *Е. Кацевой*



© Перевод. Е. Кацева, наследники, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

1910

Зрители цепенеют, когда мимо проезжает поезд.

«Если он задаёт мне вопросы». Это «ё», отделенное от фразы, улетает, как мяч на лугу.

Его серьезность меня убивает. Голова зажата в воротничке, волосы недвижно уложены на черепе, мускулы внизу щек затвердели на своем месте

Лес все еще здесь? Лес все еще был почти что здесь. Но едва мой взгляд устремился дальше шагов на десять, я упустил его из виду, снова втянутый в скучный разговор.

В темном лесу, на размякшей почве я мог ориентироваться лишь благодаря белизне его воротничка.

Во сне я просил танцовщицу Эдуардову, чтобы она еще раз станцевала чардаш. На ее лице между нижним краем лба и серединой подбородка – широкая полоса тени или света. Как раз в этот момент пришел кто-то с отвратительными ужимками бессознательного интригана, чтобы сказать ей, что поезд сейчас отправляется. По выражению, с каким она слушала это сообщение, я с ужасом понял, что она не будет больше танцевать. «Я злая, скверная баба, не правда ли?» – сказала она. «О нет, – сказал я, – вовсе нет», – и повернулся наугад к выходу.

* * *

Перед этим я расспрашивал ее о цветах, торчавших за ее поясом. «Они от всех государей Европы», – сказала она. Я раздумывал, какой смысл заключен в том, что эти свежие цветы, торчащие за поясом, были подарены танцовщице Эдуардовой всеми государями Европы.

Танцовщица Эдуардова, любительница музыки, всюду, в том числе и в трамвае, ездит в сопровождении двух скрипачей, которых она часто просит играть. Ведь запрета не существует, так почему бы в трамвае не играть, раз игра хороша, нравится пассажирам и ничего не стоит, то есть если после окончания не производят сбора денег. Правда, поначалу это немножко ошарашивает и некоторое время каждый считает, что это неуместно. Но на полном ходу, при хорошем сквозняке и на тихой улице звучит приятно.

Танцовщица Эдуардова на открытом воздухе не так красива, как на сцене. Эта бледность, эти скулы, так натягивающие кожу, что на лице едва отражается какое-нибудь движение, выступающий, словно из углубления, большой нос, с которым не пошутишь – не попробуешь кончик на твердость или не ухватишь спинку носа и не повернешь туда-сюда, говоря: «А теперь ты пойдешь со мной». Широкая фигура с высокой талией в слишком складчатых юбках – кому это может понравиться? – она похожа на одну из моих теток, пожилую даму, многие пожилые тетки многих людей выглядят похоже. На открытом воздухе эти изъяны не компенсируются у Эдуардовой, собственно говоря, ничем, кроме весьма недурных ног, в ней действительно нет ничего, что давало бы повод к восторгам, удивлению или хотя бы просто вниманию. И потому я очень часто видел, как даже обычно очень обходительные, очень корректные господа при всем старании не могли скрыть своего равнодушия по отношению к Эдуардовой, такой известной танцовщице, каковой она все-таки являлась.

Моя ушная раковина на ощупь свежа, шершава, прохладна, сочна – как лист.

Я совершенно определенно пишу это из-за отчаяния по поводу моего тела, по поводу будущего этого тела.

* * *

Но если отчаяние выступает так определенно, если оно так неотрывно от своего объекта, так удерживается, словно солдат, прикрывающий отступление и разрываемый за это в клочья, тогда это не отчаяние. Подлинное отчаяние сразу достигает своей цели и всегда обгоняет ее, (при этой запятой выявляется, что только первая фраза верна)

Ты в отчаянии?

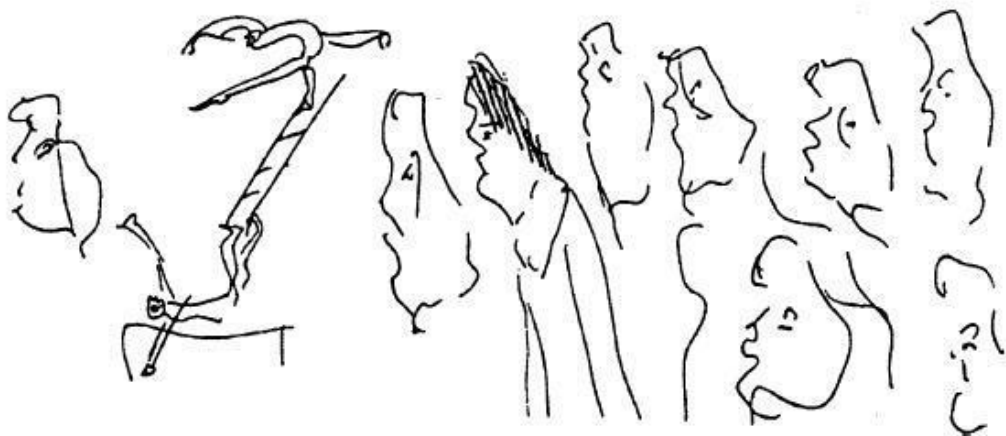
Да? В отчаянии?

Убегаешь? Хочешь спрятаться?

Я прохожу мимо борделя, как мимо дома возлюбленной.



Писатели мелют вонючий вздор.
Белошвейки в потоках дождя.
Из окна купе



Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, и которые никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязаны бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой целью, здесь еще можно что-то выбить из той копны соломы, в которую я превратился за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной! И пусть хоть десять раз случится – я ведь не сожалею о времени, даже злополучном. Мое состояние – не состояние «несчастья», но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то – тогда что же оно такое? То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то с середины. Попробуй-ка удержать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля. Пожалуй, кое-кто это умеет, например, японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не на земле, а на поднятых вверх ступнях полулежащего человека и не прислонена к стене, а вздымается вверх прямо в воздух. Я этого не умею, не говоря уж о том, что под моей лестницей нет даже тех ступней. Конечно, это еще не все, и такая задача еще не заставит меня заговорить. Но каждый день на меня должна быть направлена по меньшей мере одна строка, как направляют теперь подзорные трубы на кометы. И еще – я должен оказаться перед настоящей фразой, захваченный этой фразой, как то случилось со мною, например, в последнее Рождество, когда дело дошло до того, что я едва мог владеть собой, и когда, казалось, я действительно был на последней ступеньке своей лестницы, которая, правда, спокойно стояла на земле у стены. Но что за земля, что за стена! И все же та лестница не упала – так прижимали ее к стене мои ноги, так держали ее мои ноги на земле.

Сегодня, например, я совершил три дерзости – по отношению к кондуктору, по отношению к одному из моих начальников: так, их только две, но они мучают меня, словно боль в желудке. Они были бы дерзостью со стороны любого человека, тем более с моей. Итак, я вышел из себя, сражался в воздухе, в тумане, и вот что самое скверное: никто не заметил, что я и по отношению к моим спутникам совершил дерзость, сделал, должен был сделать именно как дерзость настоящую гримасу, за которую необходимо нести ответственность; но самое скверное, что один из моих знакомых воспринял мою дерзость не как черту характера, а как самый характер, обратил мое внимание на эту дерзость и восхитился ею. Почему я вышел из себя? Теперь я, правда, говорю себе: смотри, мир позволяет тебе бить его, кондуктор и начальник остались спокойными, когда ты выходил, начальник даже поклонился. Однако это ничего не значит. Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя. Но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? На это я отвечаю следующее: я лучше позволю избивать себя в этом

круге, чем самому избивать кого-то вне его. Но где, черт возьми, этот круг? Некоторое время я видел его на полу словно мелом нарисованным, теперь же он лишь витает вокруг меня, да и не витает даже.

Ночь кометы, 17/18 мая. Был вместе с Бляйем, его женой и ребенком, временами слышал себя снаружи, как поскуливание котенка, вскользь, но тем не менее.

Сколько дней опять прошли безмолвно; сегодня 29 мая. Разве нет у меня хотя бы решимости брать каждый день в руки эту ручку, этот кусочек дерева? Да, я думаю, у меня ее нет. Я гребу, езжу верхом, плаваю, загораю. Поэтому икры хороши, бедра неплохи, живот куда ни шло, а вот грудь очень убога, и если голова в затылке у меня.

19 июня. Воскресенье. Спал, проснулся, спал, проснулся, жалкая жизнь.

Если подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Я ведь воспитывался не где-то на обочине, не в каких-нибудь руинах в горах, против этого я не мог бы сказать ни слова упрека.

Опасаясь, что весь ряд моих прошлых учителей не сможет этого понять, но охотнее всего и с удовольствием я был бы маленьким обитателем руин, обожженным солнцем, которое со всех сторон светило бы между развалинами на безучастный плющ, пусть в начале я был бы слаб под грузом моих добрых качеств, которые буйно, как мощные сорняки, разрослись бы во мне.

Если подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Этот упрек касается многих людей, а именно – моих родителей, кое-кого из родственников, отдельных посетителей нашего дома, различных писателей, совершенно определенной кухарки, которая целый год водила меня в школу, кучи учителей (которых я должен в воспоминаниях тесно сгрудить, иначе то один, то другой отвалится, но, поскольку я их так сгрудил, целое опять-таки местами крошится), некоего школьного инспектора, медленно движущихся пешеходов, короче говоря, этот упрек всажен, как кинжал, во все общество, и никто – повторяю: к сожалению, – никто не уверен, что острие кинжала не вылезет вдруг спереди, или сзади, или сбоку. И никаких возражений на этот упрек я не желаю слушать, ибо слишком много я их уже слышал, и так как в большинстве возражений я был опять-таки опровергнут, то и эти возражения я включаю в свой упрек и ныне заявляю, что мое воспитание и это опровержение во многом мне очень повредили.

Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание мне во многом очень повредило. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать: опустить глаза им не приходит в голову, а улыбнуться они от напряженного ожидания не решаются. Здесь мои родители, кое-кто из родственников, из учителей, кухарка, которую я запомнил, некоторые девушки из школы танцев, некоторые посетители нашего дома прежних времен, некоторые писатели, преподаватель плавания, билетер, школьный инспектор, затем люди, которых я лишь однажды встречал на улице, и какие-то еще, которых я сейчас не могу припомнить, и такие, которых никогда больше не вспомню, и, наконец, такие, на уроки которых я, чем-то отвлекшись тогда, вообще не обратил внимания, – короче, их так много, что надо следить, как бы не упомянуть дважды одного и того же. И к ним всем я обращаю свой упрек, знакомлю их тем самым друг с другом и никаких возражений не приемлю. Ибо воистину я уже слышал их предостаточно, и, так как большинство этих возражений я не сумел оспорить, мне ничего другого не остается, как включить их в счет и сказать, что, как и мое воспитание, эти возражения тоже во многом очень повредили мне.

Может быть, подумают, будто я воспитывался где-то в глуши? Нет, я воспитывался в городе, в самом центре города. Не в руинах, к примеру, не в горах и не на берегу озера. Мои родители и их присные до сих пор были хмуры и серы из-за моего упрека, но вот они легко отстранили его и улыбаются, потому что я снял с них мои руки и приложил их ко лбу и думаю: мне бы быть маленьким обитателем руин, вслушивающимся в гомон галок, осененным их

тенью, освежающимся под холодной луной, – пусть вначале я и был бы чуть слаб под грузом добрых качеств, которые должны были бы буйно, как сорная трава, разрастись во мне, обожженном солнцем, сквозь развалины пробивающимся со всех сторон и светящим на мое свитое из плюща ложе.

Я часто думаю об этом и предоставляю мыслям идти своим путем, не вмешиваясь, но как бы я их ни поворачивал, прихожу к выводу, что мое воспитание во многом мне страшно повредило. В этом признании заключен упрек по отношению к целому ряду людей. Здесь родители с родственниками, совершенно определенная кухарка, учителя, некоторые писатели, дружественные семьи, некий учитель плавания, уроженцы курортных мест, некоторые дамы в городском парке, по виду которых этого не скажешь, некий парикмахер, некая нищенка, некий штурман, домашний врач и еще многие другие, и их было бы еще больше, если бы я захотел и смог назвать их по имени, – короче, их так много, что надо следить, как бы не назвать в этой толпе кого-нибудь дважды. Может показаться, что уже из-за самого этого множества упрек теряет в твердости, да он и должен ее, собственно, терять, ибо упрек – не военачальник, он шагает лишь напрямик и не умеет дробиться. Даже в этом случае, раз он направлен против ушедших людей. Эти люди желали бы со всей забытой энергией остаться в памяти, но почву под ногами они вряд ли сохраняют, сами ноги их – уже дым улетучившийся. И можно ли людей вот в таком состоянии сколько-нибудь успешно упрекать теперь за ошибки, совершенные ими когда-то, в прежние времена, при воспитании какого-то юноши, который сейчас для них столь же неопостижим, как и они для нас. Их ведь даже не заставишь вспомнить те времена, они ни о чем не могут вспомнить, а если насесть на них, они молча оттеснят тебя в сторону, никто не в силах их принудить, но о принуждении, очевидно, и говорить нечего, ибо скорее всего они и не слышат слов. Они стоят, как усталые собаки, ибо всю свою силу они потратили на то, чтобы остаться в памяти. Но если бы действительно удалось заставить их слушать и говорить, тогда в ушах звенело бы от их контрупреков, ибо люди ведь берут с собой в потусторонний мир убежденность в безупречности мертвых и защищают ее оттуда с удесятеренной силой. И если это мнение, возможно, было бы неправильным и мертвые имели бы особенно большое уважение к живым, тогда они тем более заступились бы за свое живое прошлое, которое им ближе всего, и снова у нас звенело бы в ушах. А если и это мнение было бы неправильным и мертвые были бы как раз очень объективны, то и тогда они ни за что не могли бы согласиться, чтобы их тревожили недоказуемыми упреками. Подобные упреки человека человеку недоказуемы. Нельзя доказать ни наличия прошлых ошибок в воспитании, ни их авторства. Вот и предъяви тут упрек, который в такой ситуации не обратился бы во вздох.

Таков и упрек, который я имею предъявить. У него здоровое нутро, теория его поддерживает. То, что действительно во мне испорчено, я пока забуду или прощу и не стану поднимать шума. Зато я могу в любой момент доказать, что мое воспитание было направлено на то, чтобы сделать из меня другого человека, а не того, каким я стал. Так что вред, который мне могли бы причинить мои воспитатели своими намерениями, этот вред я ставлю им в упрек, я требую из их рук человека, каким я сейчас являюсь, и, поскольку дать мне его они не могут, я подниму из упрека и смеха такой барабанный шум, что он достигнет потустороннего мира. Однако все это лишь служит для другой цели. Упрек по поводу того, что они все же испортили часть меня, добрую часть меня они испортили – во сне она порой мне является, как иным является мертвая невеста, – этот упрек, который всегда готов вот-вот превратиться во вздох, именно он пусть невредимым перейдет по ту сторону как честный упрек, каков он и есть. На самом деле так и получается, что большой упрек, с которым ничего не может случиться, берет маленький за руку, – большой идет, маленький припрыгивает, но, как только маленький попадает на ту сторону, он сразу же дает о себе знать, как мы всегда этого и ожидали, он трубит в трубу, будто по барабану барабанит.

* * *

Часто я думаю об этом и предоставляю мыслям идти своим путем, не вмешиваясь, но всегда прихожу к выводу, что мое воспитание испортило меня больше, чем я могу это понять. По внешнему виду я человек как человек, ибо мое телесное воспитание придерживается обычного так же, как обычным было мое тело, и если я маловат и толстоват, то все же нравлюсь многим, в том числе и девушкам. Тут сказать нечего. Еще недавно одна из них сказала нечто очень разумное. «Ах, увидеть бы мне вас голым, то-то вы должны быть красивы и вызывать желание поцеловать», – сказала она. Но если бы у меня не хватало тут верхней губы, там ушной раковины, здесь ребра, там пальца, если бы были на голове безволосые пятна, а на лице оспины, это бы еще не было достаточным подобием моего внутреннего несовершенства. Это несовершенство не врожденное, и потому оно тем более болезненно. Ибо, как и всякий человек, я от рождения тоже имею свой центр тяжести, который даже дурацкое воспитание не в силах сместить. Но к этому хорошему центру тяжести у меня в известной мере нет больше соответствующего тела. А центр тяжести, которому нечего делать, становится свинцом и торчит в теле, как ружейная пуля. Но несовершенство это тоже не заслужено, оно возникло без моей вины. Потому я и не нахожу в себе ни капли раскаяния, сколько бы ни искал. Ибо раскаяние пошло бы мне на пользу, оно само в себе выплакивается; оно отодвигает боль в сторону и всякое дело завершает само, как поединок; мы остаемся на своих ногах благодаря тому, что оно нас облегчает.

Мое несовершенство, как я сказал, не врожденное, не заслуженное, и тем не менее я переношу его лучше, чем с большим напряжением фантазии и отборными вспомогательными средствами другие переносят куда меньшие несчастья, например, отвратительную жену, бедность, жалкие профессии, и при этом мое лицо отнюдь не черно от отчаяния, оно белое и красное.

Я не был бы таким, если бы мое воспитание проникло в меня так глубоко, как оно того хотело. Возможно, моя юность была для этого слишком коротка, в таком случае я еще и сейчас, в мои сороковые годы, всем сердцем славлю эту краткость. Только это и дало мне возможность сохранить силы, чтобы осознать потери своей юности, далее, чтобы перенести эти потери, далее, чтобы направить во все стороны упреки и, наконец, оставить часть сил для самого себя. Но все эти силы опять-таки остаточная часть тех сил, какими я владел в детстве и которые отдали меня больше, чем других, во власть губителям юности, ибо доброму гоночному автомобилю достается больше пыли и ветра, и навстречу его колесам препятствия летят с такой стремительностью, что можно почти поверить, будто это любовь.

Отчетливее всего моя нынешняя сущность раскрывается в той силе, с какой упреки рвутся из меня. Бывали времена, когда во мне не было ничего, кроме подстегиваемых гневом упреков, так что при вполне благополучном физическом состоянии я вынужден был на улице держаться за чужих людей, ибо упреки во мне кидались из стороны в сторону, как вода в тазу, который слишком быстро несут.

Эти времена прошли. Упреки лежат во мне разбросанно, как чужие инструменты, взять и поднять которые у меня едва хватает мужества. При этом погибельность моего старого воспитания начинает все больше и больше заново влиять на меня, страсть к воспоминаниям – возможно, это общее свойство холостяков моего возраста – снова раскрывает мое сердце для тех людей, которых мои упреки должны побивать, и происшествие, подобное вчерашнему, прежде случавшееся столь же часто, как еда, теперь бывает так редко, что я это записываю.

Но, сверх того, я сам, тот, кто сейчас откладывает перо, чтобы открыть окно, возможно, я и есть наилучшее вспомогательное средство моих нападающих. Я недооцениваю себя, а это уже означает переоценку других, но я переоцениваю их и, помимо того и несмотря на это, я

причиняю себе вред еще и напрямую. Когда меня захлестывает страсть к упрекам, я смотрю из окна. Никто не станет отрицать, что там сидят в своих лодках рыболовы, как школьники, которых вывели из школы к реке; ладно, их неподвижность зачастую непонятна, как неподвижность мух на оконном стекле. И по мосту идут, разумеется, трамваи, как всегда, с огрубленным шумом ветра и звонят, как испорченные часы, нет сомнения, что полицейский, черный снизу доверху, с желто светящейся медалью на груди, ни о чем другом не напоминает, кроме как об аде, и теперь, думая примерно то же, что и я, наблюдает за рыболовом, который внезапно – то ли он плачет, то ли у него видение, или дергается поплавок – наклоняется к борту лодки. Все это правильно, но для своего времени, теперь же правильны только упреки.

Они направлены против множества людей, это может прямо-таки испугать, и не только я, но и всякий другой лучше уж станет глядеть из открытого окна на реку. Здесь родители и родственники, и то, что они вредили мне из любви ко мне, лишь увеличивает их вину, ведь как сильно они могли бы из любви ко мне помочь, затем дружественные семьи со злым взглядом, от сознания вины они тяжелеют и не хотят подняться в воспоминания, затем куча нянь, учитель и писатель и среди них одна совершенно определенная кухарка, затем в наказание переходящие друг в друга домашний врач, парикмахер, штурман, нищенка, продавец бумаги, парковый сторож, учитель плавания, затем чужие дамы из городского сада, по виду которых этого никак нельзя было бы сказать, уроженцы дачных мест как насмешка над неповинной природой и многие другие; их было бы еще больше, если бы я захотел и смог назвать их по имени, – короче, их так много, что надо следить, как бы не назвать кого-нибудь дважды.

Я думаю часто и предоставляю мыслям идти своим ходом, не вмешиваясь, но всегда прихожу к одному и тому же выводу, что воспитание испортило меня больше, чем все люди, которых я знаю, и больше, чем я сам постигаю. Но говорить об этом я могу лишь время от времени, ибо если меня спрашивают: «В самом деле? Возможно ли это? Трудно поверить!» – я сразу же из нервного страха пытаюсь это преуменьшить.

Внешне я выгляжу как другие; у меня есть ноги, туловище и голова, брюки, пиджак, шляпа; меня заставляли как следует заниматься гимнастикой, и если я, несмотря на это, маловат ростом и слаб, то, значит, это было неизбежно. В остальном же я многим нравлюсь, даже молодым девушкам, а те, кому я не нравлюсь, находят меня все же сносным.

Рассказывают, и мы склонны этому верить, что мужчины в опасности нисколько не считаются даже с красивыми чужими женщинами; если эти женщины мешают им бежать из горящего театра, они отшвыривают их к стене, бодают головой, толкают руками, коленями, локтями. И тогда наши болтливые женщины молчат, их бесконечные речи обрываются точкой на глаголе, брови утрачивают покой, бедра и ляжки теряют дыхательный ритм движения, в полуоткрытый от страха рот втекает больше воздуха, чем обычно, и щеки кажутся немного вздутыми.

* * *

Санд: французы все – комедианты; но лишь самые слабые из них играют комедию.

Клакеры во французских театрах: повелители сидят в партере. Гагакают для ближних, роняют газеты для галерочников.

Колотушка извещает о начале

6 ноября. Вечер некой мадам Шеню, посвященный Мюссе. Привычка евреек чмокать, понимание французского посредством всяких подходов и сложностей анекдота, пока перед самым заключительным словом, покоящимся на руинах этого анекдота, французский на наших глазах не потухает, – может быть, мы слишком сильно все время напрягались, люди же, понимающие французский, уходят, не дожидаясь конца, потому что они уже достаточно слышали, другие слышали еще далеко не достаточно, акустика зала, более благосклонная к кашлянию в

ложах, чем к слову выступающего; ужин у Рашели, она читает Расина: «Федра» с Мюссе, книга лежит между ними на столе, на котором, кстати, лежит всякая всячина. Консул Клодель, блеск его глаз заливают широкое лицо и с лица отсвечивает, он все время хочет попроситься, по отдельности ему это удастся, но в целом нет, ибо когда он прощается с одним, рядом уже стоит другой, а к нему опять присоединяется тот, с кем прощались. Над подмостками для доклада – галерея для оркестра. Мешают всякие шумы. Кельнеры из вестибюля, гости в комнатах, рояль, отдаленный струнный оркестр, громкие стуки, наконец, ссора, локализация которой доставляет большие трудности и потому привлекает внимание. В одной ложе дама с бриллиантами в серьгах, их блеск почти непрерывно меняется. У кассы молодые, одетые в черное люди из какого-то французского кружка. Один из них приветствует с таким низким поклоном, что глаза его скользят по полу. При этом он широко улыбается. Но так он делает только перед девушками, мужчинам он сразу затем открыто смотрит в лицо со строго сомкнутым ртом, тем самым одновременно обозначая предыдущее приветствие как смешноватую, но обязательную церемонию.

7 ноября. Доклад Виглера о Геббеле. Сидит на сцене с декорациями современной комнаты, словно из какой-нибудь двери выскочит его возлюбленная, чтобы начать наконец пьесу. Нет, он делает доклад. Голодание Геббеля. Сложное отношение к Элизе Ленсинг. В школе у него учительницей старая дева, она курит, сморкается, бьет, а послушных одаривает изюмом. Он всюду ездит (Гейдельберг, Мюнхен, Париж) без определенной цели. Сперва он служка у церковного смотрителя, спит под лестницей в одной кровати с кучером.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд по рисунку Ф. Оливье, он рисует на склоне; как красив и серьезен он здесь (высокая шляпа, как сплюснутый клоунский колпак, с тугими, надвинутыми на лоб узкими полями, волнистые, длинные волосы, глаза направлены лишь на картину, спокойные руки, доска на коленях, одна нога чуть глубже скользнула на откос).

Но нет, это Оливье, нарисованный Шнорром.

15 ноября, 10 часов. Я не позволю себя утомить. Я впрыгну в свою новеллу, даже если это искромсает мне лицо.

16 ноября, 12 часов. Читаю Гёте «Ифигению в Тавриде». За исключением отдельных явно неудачных мест, там вызывает настоящее восхищение высушенный немецкий язык в устах чистого мальчика. Каждое слово стиха в момент чтения поднимается читающим ввысь, где оно и стоит в скудном, может быть, но пронизывающем свете.

27 ноября. Бернхард Келлерман читал вслух. «Кое-что неопубликованное из моих сочинений» – так он начал. По-видимому, милый человек; почти седые, торчком стоящие волосы, старательно, чисто выбрит, острый нос, желваки перекатываются, как волны, на скулах. Писатель он посредственный, хотя есть хорошо написанные куски (какой-то мужчина выходит в коридор, кашляет и оглядывается, нет ли здесь кого-нибудь); честный человек, он хочет прочитать то, что пообещал, но публика не дает, испугавшись первого рассказа о психиатрической лечебнице: из-за скуки, навеваемой манерой чтения, слушатели, несмотря на известную занимательность рассказа, все время поодиночке выходят с такой ретивостью, будто по соседству читают что-то другое. Когда он, прочитав треть рассказа, остановился, чтобы выпить минеральной воды, ушло уже много народа. Он испугался. «Скоро конец», – просто соврал он. Когда он закончил, все встали, раздались аплодисменты, прозвучавшие так, словно все поднялись, а один остался сидеть и аплодировал для собственного удовольствия. Келлерман хотел читать дальше – еще один рассказ или даже несколько. Увидев, что все уходит, он только рот раскрыл. Наконец, по чьему-то совету, он сказал: «Я хотел бы еще прочитать небольшую сказку, это займет всего пятнадцать минут. Сделаем пятиминутный перерыв». Кое-кто остался, и он прочитал сказку, вполне дававшую слушателям право бежать через зал чуть ли не по головам соседей к выходу.

Рудле 1 к,
Каре 10 г, | долг

15 декабря. Своим выводам из моего нынешнего, уже почти год длящегося состояния я просто не верю – для этого мое состояние слишком серьезно. Я даже не знаю, могу ли сказать, что это состояние не новое. Во всяком случае, я думаю: состояние это ново, подобные у меня бывали, но такое – еще никогда. Я словно из камня, я словно надгробный памятник себе, нет даже шелки для сомнения или веры, для любви или отвращения, для отваги или страха перед чем-то определенным или вообще, – живет лишь шаткая надежда, бесплодная, как надписи на надгробиях. Почти ни одно слово, что я пишу, не сочетается с другим, я слышу, как согласные с металлическим лязгом трутся друг о друга, а гласные подпевают им, как негры на подмостках. Сомнения кольцом окружают каждое слово, я вижу их раньше, чем само слово, да что я говорю! – я вообще не вижу слова, я выдумываю его. Но это еще было бы не самым большим несчастьем, если бы я мог выдумывать слова, которые развеяли бы трупный запах, чтобы он не ударял снизу в нос мне и читателю.

Когда я сажусь за письменный стол, то чувствую себя не лучше человека, падающего и ломающего себе обе ноги в потоке транспорта на Place de l'Орега. Все экипажи тихо, несмотря на производимый ими шум, устремляются со всех сторон во все стороны, но порядок, лучший, чем его мог бы навести полицейский, устанавливает боль этого человека, которая закрывает ему глаза и опустошает площадь и улицы, не поворачивая машин обратно. Полнота жизни причиняет ему боль, ибо он ведь тормозит движение, но и пустота не менее мучительна, ибо она отдает его во власть боли.

16 декабря. Я больше не брошу дневника. Я должен сохранить себя здесь, ибо только здесь это и удастся мне.

Мне так хочется объяснить чувство счастья, которое время от времени, вот как раз сейчас, возникает во мне. Это нечто игристое, целиком наполняющее меня легкой приятной дрожью и внушающее мне способности, в отсутствии которых я с полной уверенностью могу убедиться в любой момент, хоть и сейчас.

Геббель хвалит «Дорожную тень» Юстинуса Кернера. «И такое произведение едва существует, никто его не знает».

«Дорога одиночества» В. Фреда. Как пишутся такие книги? Человек, достигший чего-либо путного в малом, так натужно растягивает свой талант на большой роман, что становится тошно, даже если ты восхищаешься энергией, с какой человек насилует собственный талант.

Зачем это третиrowание второстепенных персонажей, о которых я читаю в романах, пьесах и т. д. Какое чувство близости я испытываю к ним! В «Бишофсбергских девах» (так это называется?) говорится о двух швеях, готовящих белье для невесты. Какова жизнь этих двух девушек? Где они живут? Что они натворили такого, что их не пускают в пьесу? Им лишь дозволено, буквально утопая в потоках ливня, снаружи прижать в последний раз лицо к окошку каюты Ноева ковчега, для того чтобы зрители в партере увидели на мгновение нечто смутное.

17 декабря. На настойчивый вопрос – неужели ничто не покоится? Зенон ответил: «Да, летящая стрела покоится».

Если бы французы по характеру своему были немцами, как бы тогда восхищались ими немцы!

* * *

То, что я так много отложил и повычеркивал – а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, – тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера притягивает к себе все, что я пишу.

18 декабря. Не будь несомненным то обстоятельство, что причина оттягивания момента распечатывания письма (предположительно даже столь незначительного содержания, как только что полученное) заключается лишь в слабости и трусости, заставляющих медлить с распечатанием письма так же, как медлишь открыть дверь комнаты, где кто-то, может быть, уже нетерпеливо тебя дожидается, – тогда это можно было бы еще лучше объяснить основательно. Если предположить, что я человек основательный, тогда я должен пытаться растягивать все, что касается письма, то есть медленно его открывать, медленно и многожды прочитывать, долго размышлять, подготавливать несколько вариантов ответа, прежде чем переписать его набело, и, наконец, еще помедлить с отправкой. Все это в моей власти, вот только избежать внезапности получения письма нельзя. Но и это я замедляю искусственным образом, долго не открываю письмо, оно лежит предо мною на столе, все время предлагая себя, я все время получаю его, однако не беру в руки.

Эстет

Вечер, половина двенадцатого. То, что я, пока не освобожусь от канцелярии, попросту потерял, это мне яснее ясного, речь только о том, чтобы как можно дольше держать голову кверху, дабы не утонуть. Насколько это будет трудно, сколько сил это из меня вытянет, видно уже по тому, что сегодня я не выдержал своего нового расписания – с 8 до 11 вечера сидеть за письменным столом, и что сейчас я даже не считаю это таким уж большим несчастьем, и что я торопливо записал лишь эти несколько строк прежде, чем лечь в постель.

19 декабря. Начал ходить на службу. После обеда был у Макса.

Почитал немного дневники Гёте. Время уже излило покой на эту жизнь, дневники оза-ряют ее светом. Ясность всех событий делает их таинственными, так же как парковая ограда при созерцании больших лужаек успокаивает глаз и вместе с тем вселяет в нас преувеличенное почтение.

Только что пришла к нам впервые моя замужняя сестра.

20 декабря. Чем оправдаю я вчерашнее замечание о Гёте (которое почти столь же неверно, как и отмеченное записью чувство, ибо подлинное было развеяно приходом сестры)? Ничем. Чем оправдаю я то, что сегодня еще ничего не написал? Ничем. Тем более что мое состояние не наихудшее. У меня в ушах все время звучит призыв: «Приди ж, незримый суд!»

Для того, чтобы мне наконец дали покой эти фальшивые места, ни за что не желающие убираться из истории, я два из них перепису: «Его вдохи были громкими, как вздохи по поводу сна, в котором несчастье легче перенести, чем в нашем мире, так что простые вдохи уже сами по себе вздохи».

Теперь я окидываю это взглядом с такой же легкостью, с какой окидывают взглядом голо-воломку, говоря: «Какое это имеет значение, если я не могу загнать шарики в их лунки, ведь все принадлежит мне, стакан, доска, шарики и что еще тут есть; все это искусство я попросту могу сунуть в карман».

21 декабря. Достопримечательности из «Подвигов Великого Александра» Михаила Куз-мина: «Ребенок, верхняя половина которого была мертвою, нижняя же – со всеми признаками жизни... младенческий труп с шевелящимися красными ножками». «Нечистых царей, Гогу и Магогу, питавшихся червяками и мухами, загнал в рассевишиеся скалы и до скончания мира запечатал Соломоновою печатью». «Каменные потоки, что вместо воды стремят с грохотом

камни, песчаные ручьи, три дня текущие к югу, три дня – на север». «Мужеподобные женщины, с выжженными правыми грудями, короткими волосами, в мужской обуви». «Крокодилы, мочою сжигающие дерево».

Был у Баума, слушал прекрасные вещи. Я слаб, как прежде и всегда. Такое ощущение, будто меня связали, и одновременно другое ощущение, будто, если бы развязали меня, было бы еще хуже.

22 декабря. Сегодня я не решаюсь даже делать себе упреки. Прозвучи они в этот пустой день, они имели бы отвратительное эхо.

24 декабря. Я сейчас внимательнее осмотрел свой письменный стол и понял, что за ним ничего хорошего не сделать. На нем столько всего лежит и создает беспорядок без какой-либо размеренности и хоть какой-то совместимости неупорядоченных вещей, а она-то обычно и делает всякий беспорядок выносимым. Какой бы ни был беспорядок на зеленом сукне, он может быть и в партере старых театров. Но когда из стоячих мест

25 декабря. Из открытого ящика под приставкой к столу вылезают брошюры, старые газеты, каталоги, видовые открытки, письма, частью разорванные, частью открытые, вылезают в форме наружной лестницы – этот непристойный вид портит все. Отдельные относительно большие вещи партера выступают с наивозможной активностью, словно в театре разрешено, чтобы в зрительном зале торговец приводил в порядок свои бухгалтерские книги, плотник плотничал, офицер размахивал саблей, духовник обращался к сердцам, ученый – к разуму, политик – к гражданскому чувству, чтобы влюбленные не сдерживали себя и т. д. Это только на моем письменном столе стоит наготове зеркало для бритья, щетиной вниз лежит одежная щетка, тут же портмоне открыто на тот случай, если придется платить, из связки ключей торчит ключ, готовый приступить к делу, а галстук частично еще обвивает снятый воротничок. Расположенный выше, по бокам зажатый запертыми маленькими выдвижными ящиками, открытый ящик приставки представляет собой не что иное, как чулан, как если бы низкий балкон зрительного зала, по сути, самое видное место театра, был резервирован для вульгарнейших людей, для старых прожигателей жизни, у которых внутренняя грязь постепенно выступает наружу, для грубых парней, болтающих ногами через перила балкона. Семьи с таким количеством детей, что на них бросаешь лишь беглый взгляд, не в силах их сосчитать, разводят здесь всю грязь бедных детских комнатух (уже в самый партер протекает), в темном заднике сидят неизлечимые больные, их, к счастью, видно только тогда, когда туда падает свет, и т. д. В этом ящике лежат старые бумаги, которые я давно бы выбросил, имей я корзину для бумаг, карандаши с обломанными остриями, пустая спичечная коробка, пресс-папье из Карлсбада, линейка, ухабищность ребра которой была бы слишком опасна для сельской дороги, множество запонок, тупые лезвия (для них нет места на всем свете), зажимы для галстука и еще одно тяжелое металлическое пресс-папье. В ящике повыше —

Убого, убого, и то это еще слабо сказано. Сейчас полночь, но так как я очень хорошо выспался, то это лишь постольку может служить извинением, поскольку днем я бы вообще ничего не написал. Зажженная лампа, тишина квартиры, тень за окном, последние мгновения бодрствования – они дают мне право писать, будь то даже самое убогое. И я поспешно использую это право. Вот я какой.

26 декабря. Два с половиной дня – правда, не полностью – я был один, и вот я уже если и не преобразован, то на пути к тому. Одиночество имеет надо мною никогда не пасующую силу. Мое нутро расслабляется (пока только поверхностно) и готово раскрыться. Во мне начинает устанавливаться маленький порядок, а в этом-то я больше всего и нуждаюсь, ибо при небольших способностях нет ничего хуже, чем беспорядок.

27 декабря. У меня нет больше сил написать хоть одну фразу. Да если бы речь шла о словах, если б можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово целиком наполнено тобою.

Часть послеобеденного времени проспал; когда бодрствовал, я лежал на диване, вспоминал некоторые любовные переживания юношеской поры, с досадой задержался на одной упущенной возможности (я лежал тогда слегка простуженный в постели, и гувернантка читала мне «Крейцерову сонату», наслаждаясь при этом моей возбужденностью), представил себе свой вегетарианский ужин, был доволен своим пищеварением и испытывал опасения, хватит ли света моих глаз на всю мою жизнь.

28 декабря. Когда я несколько часов веду себя по-человечески, как сегодня с Максом и позже у Баума, то перед сном уже исполнен высокомерия.

1911

4 января. «Вера и родина» Шёнгерра.

У посетителей галереи подо мной пальцы мокрые от вытирания глаз.

7 января. Сестра Макса так влюблена в своего жениха, что пытается с каждым посетителем поговорить по отдельности, ибо с каждым отдельно можно лучше выговориться о своей любви и повториться.

Словно волшебные силы – ибо ни внешние, ни внутренние обстоятельства, в настоящее время куда более благоприятные, нежели год тому назад, не мешали мне – удерживали меня в течение целого свободного дня (сегодня воскресенье) от того, чтобы писать.

Мне утешительно открылись некоторые новые знания о несчастном создании, каким я являюсь.

12 января. В эти дни я многого не записал о себе, отчасти из лени (я теперь много и крепко сплю днем, во время сна я приобретаю больший вес), отчасти также из страха выдать свои познания о себе. Этот страх оправдан, ведь самопознание лишь тогда заслуживает быть зафиксированным в записи, когда оно может осуществиться с максимальной полнотой, с пониманием всех, вплоть до второстепенных, последствий, а также с полнейшей правдивостью. Если же оно осуществляется не так, – а я, во всяком случае, так не умею, – тогда записанное по собственному усмотрению, приобретя могущество именно благодаря фиксации, выдает вскользь почувствованное за истинное чувство и ты лишь запоздало осознаешь всю бесполезность записанного.

Несколько дней тому назад – Леони Фриппон, кабаретистка из «Города Вены». Прическа – перехваченная лентой куча локонов. Скверный корсаж, очень поношенное платье, но очень красива в своих трагических движениях, напряженные веки, выразительные движения длинных ног, умелое вытягивание рук вдоль тела, роль нестигаемой шеи в двусмысленных позах. Песня: коллекция пуговиц в Лувре.

Шиллер, нарисованный Шадовым в 1804 г. в Берлине, где его пышно чествовали. Крепче, чем за этот нос, лицо не ухватить. Нос несколько оттянут книзу вследствие привычки во время работы тереть его. Дружелюбный, с немного впалыми щеками человек, бритое лицо делает его похожим на старика.

14 января. Роман «Супруги» Берадта. Плохой язык. Все время внезапно зачем-то появляется автор, например: все были веселы, но присутствовал один, который не был весел. Или: и вот пришел некий господин Штерн (которого мы уже знаем до мозга его романских костей). Подобное есть и у Гамсуна, но там это столь же естественно, как сучки на дереве, здесь же это капают на действие, как модное лекарство на сахар. Внимание беспричинно приковывается к каким-то странным оборотам. Например: он трудился над ее волосами, трудился и снова трудился. Отдельные лица, хотя и не освещены новым светом, видны хорошо, настолько хорошо, что местами даже недостатки не мешают. Второстепенные персонажи большей частью безнадёжны.

17 января. Макс читал мне первый акт «Прощания с юностью». Как я могу такой, каков я сегодня, осилить это; целый год мне пришлось искать, прежде чем я нашел в себе подлинное чувство, и вот теперь, в кафе, поздним вечером, мучимый наплывами плохого, несмотря ни на что, пищеварения, должен сколь-нибудь соответственно восседать в своем кресле, внимая такому большому произведению.

19 января. Так как я, кажется, вконец измотан – в последний год я был бодр не больше пяти минут, мне предстоит каждый день желать исчезнуть с лица земли или, хотя и это не дало бы мне ни малейшей надежды, начать все сначала малым ребенком. Внешне мне будет легче, чем тогда. Ибо в те времена я лишь смутно стремился к изображению, которое было бы

каждым словом связано с моей жизнью, которое я мог бы прижимать к груди и которое сорвало бы меня с места. С какими муками (правда, ни в какое сравнение не идущими с нынешними) я начинал! Каким холодом целыми днями преследовало меня написанное! Но так велика была опасность и так ничтожны были даваемые ею передышки, что я совсем не чувствовал этого холода, что, конечно, в целом не очень-то уменьшало мое несчастье.

Однажды я задумал роман, в котором два брата враждовали друг с другом, один из них уехал в Америку, между тем как другой остался в тюрьме в Европе. Я только время от времени записывал строчку-другую, потому что сразу же уставал. Вот так однажды в воскресенье, когда мы были в гостях у бабушки с дедушкой и наелись особенно мягкого хлеба с маслом, которым там всегда угощали, я начал писать что-то про ту тюрьму. Вполне возможно, что я занялся этим главным образом из тщеславия и шуршанием бумаги по скатерти, постукиванием карандаша, рассеянным рассматриванием круга под лампой хотел возбудить в ком-нибудь желание взять у меня написанное, прочесть его и восхититься мною. В нескольких строчках был описан преимущественно коридор тюрьмы, главным образом тишина и холод; было сказано и сочувственное слово об оставшемся брате, ибо это был хороший брат. Возможно, меня охватило ощущение невыразительности описания, но с того дня я никогда больше не обращал особого внимания на такие ощущения, когда сидел за круглым столом в знакомой комнате среди родственников, к которым привык (моя робость была столь велика, что среди привычного я уже бывал наполовину счастлив), ни на минуту не забывая, что я молод и нынешний покой не про меня – мне предначертано великое. Дядя, любивший поиздеваться, наконец взял у меня листок, который я слабо попытался удержать, бросил на него беглый взгляд и вернул обратно, даже не посмеявшись; он сказал остальным, которые следили за ним глазами: «Обычная чепуха», мне же не сказал ни слова. Я, правда, остался на месте, по-прежнему склонившись над своим, стало быть, никчемным листком, но из общества я был изгнан одним пинком, дядин приговор отозвался в моей душе уже почти во всем действительном значении, в самом чувстве семьи мне раскрылся весь холод нашего мира, я должен согреть его пламенем, на поиски которого я еще только собирался отправиться.

19 февраля. Когда я сегодня хотел подняться с постели, я свалился как подкошенный. Причина этого очень проста: я крайне переутомился. Не из-за службы, а из-за другой моей работы. Служба неповинно участвует в этом лишь постольку, поскольку я, не будь надобности ходить туда, мог бы спокойно жить для своей работы и не тратить там ежедневно эти шесть часов, которые особенно мучительны для меня в пятницу и субботу, потому что я полон моими писаниями, – так мучительны, что Вы себе представить не можете. В конечном счете – я знаю – это пустая болтовня, виноват только я, служба предъявляет ко мне лишь самые простые и справедливые требования. Но для меня это страшная двойная жизнь, исход из которой, вероятно, один – безумие. Я пишу это при ясном свете утра и наверняка не стал бы писать, не будь это настолько правдой и не будь столь сильна моя сыновья любовь к Вам.

Впрочем, завтра, наверное, уже опять все будет в порядке, и я приду на службу, где первыми услышу слова о том, что Вы хотите избавить от меня Ваш отдел.

Особенность моего вдохновения, охваченный которым я сейчас, в два часа ночи, – счастливейший и несчастнейший, – иду спать (может быть, оно, если я только смогу вынести мысль об этом, сохранится, ибо оно сильнее, чем когда-либо прежде), заключается в том, что я умею все, а не только нечто определенное. Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например: «Он выглянул в окно», то она уже совершенна.

20 февраля. Мелла Марс в кабаре «Люцерна». Остроумная трагедийная актриса, которая выступает в некоторой степени не на той сцене так, как трагедийные актрисы порой держатся за сценой. У нее усталое, плоское, пустое старое лицо, что у всех известных актеров является как бы разбегом. Говорит она очень резко, таковы и ее движения, начиная с согнутого большого пальца, который словно состоит из сухожилий вместо костей. Особая игровая спо-

собность ее носа подчеркивается переменным светом и углублениями играющих вокруг него мышц. Несмотря на постоянную молниеносность ее движений и слов, внимание она заостряет мягко.

Небольшие города тоже имеют небольшие окрестности для гуляющих.

Молодые, аккуратные, хорошо одетые юноши рядом со мной в галерее напоминают мне юность и потому производят отталкивающее впечатление.

Письма молодого Клейста, двадцатидвухлетнего. Отказался от военной карьеры. Дома спрашивают: ради какой же доходной профессии? – только о такой и могла быть речь. У тебя есть выбор – юриспруденция или камеральные науки. Но есть ли у тебя связи при дворе? «Вначале я несколько смущенно ответил отрицательно, но потом с тем большей гордостью заявил, что если бы у меня и были связи, я, по моим нынешним понятиям, стыдился бы рассчитывать на них. Усмехнулись; я почувствовал, что ответил опрометчиво. Следует остерегаться производить вслух такие истины».

21 февраля. Я живу здесь так, словно уверен, что буду жить второй раз; ну, например, как после неудачной поездки в Париж я утешал себя тем, что постараюсь вскоре снова побывать там. Передо мной – резко разделенные участки света и тени на тротуаре.

Какое-то мгновение я чувствовал себя бронированным.

Как мне чужды, например, мышцы руки.

Марк Генри – Дельвар. Порожденное пустым залом трагическое чувство у зрителя благотворно влияет на серьезные песни, веселым же мешает. – Генри конферирует, тем временем Дельвар за прозрачным, чего она не знает, занавесом приводит в порядок свои волосы. – При плохо посещаемых представлениях Вецлер, организатор, носит свою ассирийскую бороду, обычно совершенно черную, с проседью. – Хорошо поддаться такому темпераменту, это действует двадцать четыре часа, нет, не так долго. – Много одежды, бретонские костюмы, самая нижняя из нижних юбок – самая длинная, так что все это богатство можно издали посчитать. – Сперва Дельвар аккомпанирует, потому что хотят сэкономить на аккомпаниаторе, в зеленом платье с глубоким вырезом и мерзнет. – Парижские уличные выкрики. Разносчики газет резвятся. – Кто-то со мною заговаривает, но, прежде чем я перевожу дух, со мной уже прощаются. – Дельвар смешна, у нее улыбка старых дев, старая дева немецкого кабаре с красной шалью, которую она достает из-за занавеса – она делает революцию, стихи Даутендейя она читает тем же жестким нестигаемым голосом. Она была мила только вначале, когда сидела за роялем. – При песне «à Batginolles»¹ я почувствовал в горле Париж. Batginolles должен быть похож на пенсионера, равно как его апаши. Бруан сочинил для каждого квартала свою песню.

26 марта. Теософские доклады д-ра Рудольфа Штайнера из Берлина. Риторический прием: обстоятельно излагает возражения противников, слушатель поражен, сколь сильны эти противники, слушатель встревожен, он полностью погружается в эти возражения, словно вокруг ничего более не существует, слушатель считает уже, что опровергнуть их вообще невозможно, и он более чем удовлетворен даже самым беглым изложением возможной защиты. Кстати, такой риторический эффект соответствует предписанию погрузить слушателей в благоговейное настроение. Долго рассматривается вытянутая вперед ладонь. Заключительная точка не ставится. Обычно каждая фраза, произносимая оратором, начинается с прописных букв, по мере продолжения она из всех сил наклоняется к слушателю и в конце своем с заключительной точкой возвращается к оратору. Когда же заключительной точки нет, ничем не сдерживаемая фраза дышит слушателю прямо в лицо.

Доклад Лооса и Крауса.

Как только в какой-нибудь западноевропейской повести делается попытка охватить хоть некоторые группы евреев, мы сейчас уже почти по привычке сразу начинаем под или над изоб-

¹ Батиньоль(*фр.*) – район Парижа.

раженным искать и находить также решения еврейского вопроса. Но в «Еврейках» не дано такого решения, оно даже не предполагается, ибо как раз те персонажи, которые занимаются подобными вопросами, стоят в романе далеко от центра, там, где события разворачиваются быстрее, и, хотя мы еще можем за ними наблюдать, нам уже не представляется случая спокойно получить сведения об их стремлениях. Недолго рассуждая, мы находим в этом недостаток романа и чувствуем себя тем более вправе дать такую оценку, что теперь, когда существует сионизм, возможности решения еврейской проблемы разработаны так ясно, что в конце концов писателю нужно сделать лишь несколько шагов, чтобы найти подходящие для своего повествования решения.

Но данный недостаток вытекает еще из другого недостатка. В «Еврейках» нет нееврейских персонажей, уважаемых антагонистов, которые в других произведениях выманивают еврейское на свет Божий, так что оно возникает перед ними, вызывая изумление, сомнение, зависть, страх и наконец, наконец-то обретает уверенность в себе, во всяком случае, оно в противопоставлении с ними может подняться во весь свой рост. Именно этого мы желаем, другого растворения еврейских масс мы не признаем. На это чувство мы ссылаемся не только в данном случае, по меньшей мере в одном направлении оно всеобщее. Так, на пешеходной дороге в Италии нас необыкновенно радует мелькание ящерич перед нашими ногами, мы все время хотим наклониться к ним, но когда мы видим их у торговца, сотнями кишачими в больших банках, в каких обычно маринуют огурцы, то мы не знаем, куда деваться.

Оба недостатка объединяются в третий. «Еврейки» могут обходиться без того находящегося на переднем плане юноши, который обычно в повествовании привлекает к себе лучших и ведет их в прекрасном радиальном направлении к границам еврейского круга. Именно с тем, что роман может обходиться без этого юноши, мы не хотим согласиться, здесь мы ошибку больше чувствуем, нежели видим.

28 марта. Художник Поллак-Карлин, его жена, два широких больших передних зуба заостряют большое, в общем-то плоское лицо, госпожа надворная советница Биттнер, мать композитора, крепкий костяк которой от старости так выпирает, что она похожа на мужчину, по крайней мере когда сидит.

Отсутствующие ученики требуют столько внимания от д-ра Штайнера. Во время его выступления вокруг него так и теснятся покойники. Жажда знаний? Разве их, собственно, это интересует? Видимо, да. Спит два часа. С тех пор как однажды во время его выступления выключили электрический свет, он всегда носит с собой свечу. Он был очень близок к Христу. Он поставил в Мюнхене свою пьесу (ты можешь изучать ее целый год и все равно не поймешь), сам нарисовал костюмы, написал музыку. Он был наставником некоего химика. Симону Леви, торговцу мылом в Париже, Quai Moncey, он дал превосходные деловые советы. Тот перевел его произведения на французский язык. Поэтому надворная советница занесла в свою записную книжку: «Как достичь познания высших миров? У С. Леви в Париже».

В Венской ложе есть теософ, шестидесяти пяти лет, необычайно толстый, прежде забубенный пьяница, который постоянно верит и постоянно впадает в сомнения. Говорят, было очень забавно, когда однажды на конгрессе в Будапеште во время ужина на Блоксберге в лунную ночь неожиданно пришел д-р Штайнер и он со страху спрятался со своей кружкой за пивной бочкой (хотя д-р Штайнер не рассердился бы).

Возможно, он и не самый великий современный исследователь духа, но лишь на нем возлежит долг объединить теософию с наукой. Поэтому он и знает все. Однажды в его родном селе появился ботаник, большой знаток оккультных наук. Он и просветил его. То, что я посещу д-ра Штайнера, дама истолковала мне как проявление памяти предков. Врач этой дамы, когда у нее обнаружили симптомы инфлюэнцы, спросил у д-ра Штайнера о лекарстве, прописал это лекарство даме и сразу же вылечил ее. Одна француженка попрощалась с ним, сказав: «Au revoir». Он потряс за ее спиной рукой. Через два месяца она умерла. Еще один подобный случай

в Мюнхене. Мюнхенский врач лечит красками, которые назначал д-р Штайнер. Он посылал также больных в пинакотеку с предписанием стоять, сосредоточившись, перед определенной картиной, в течение получаса или больше.

Гибель Атлантиды, гибель Лемурии, и теперь еще – гибель от эгоизма. Мы живем в решающее время. Опыт д-ра Штайнера удастся, если только духи зла не одержат верх. Он питается двумя литрами миндального молока и фруктами, растущими на возвышенностях. Со своими отсутствующими учениками он обращается посредством мысленных образов, которые он им направляет. Создав эти образы, он больше не занимается ими, но они быстро стираются, и он должен их снова создавать.

Госпожа Фанта: «У меня плохая память».

Д-р Шт.: «Не ешьте яиц».

Мое посещение д-ра Штайнера.

Одна женщина уже ожидает (на третьем этаже гостиницы «Виктория» на Юнгманштрассе), но настоятельно просит меня пройти раньше ее. Мы ждем. Приходит секретарша и обнадеживает нас. Я вижу его в конце коридора. Нешироко раскинув руки, он приближается к нам. Женщина говорит, что я пришел первым. И вот я иду позади него, он ведет меня в свою комнату. На его черном сюртуке, который во время вечерних выступлений кажется наводненным (так он блестит своей чистой чернотой), теперь, при дневном свете (сейчас три часа пополудни), видна пыль, особенно на спине и плечах, и даже пятна.

В его комнате я пытаюсь выказать робость, испытывать которую не могу, тем, что нахожу самое неподходящее место для своей шляпы, кладу ее на маленькую деревянную подставку для шнуровки ботинок. Стол посредине, я сижу лицом к окну, он – с левой стороны стола. На столе бумаги с несколькими рисунками, напоминающими рисунки на докладах об оккультной физиологии. Номер «Анналов натурфилософии» лежит поверх небольшой стопки книг, кажется, кругом валяются еще книги. Но осматриваться нельзя, так как он все время старается заморозить посетителя своим взглядом. Когда же он не делает этого, нужно быть начеку, пока взгляд его снова не обратится на вас. Он начинает несколькими непринужденными фразами: «Вы ведь доктор Кафка? Давно ли Вы занимаетесь теософией?»

Но я произношу свою заготовленную речь:

«Я ощущаю, что большая часть моего существа тяготеет к теософии, но вместе с тем я испытываю перед нею сильнейший страх. Я боюсь, что она породит новое смятение, которое было бы для меня очень опасным, ибо мое нынешнее несчастье как раз и проистекает из смятения. Смятение это вызвано вот чем: мое счастье, мои способности и всякая возможность приносить какую-то пользу с давних пор связаны с литературой. И здесь я переживал состояния (не часто), очень близкие, по моему мнению, к описанным Вами, господин доктор, состояниям ясновидения, я всецело жил при этом всякой фантазией и всякую фантазию воплощал и чувствовал себя не только на пределе своих сил, но и на пределе человеческих сил вообще. Но покоя, который, по-видимому, приносит ясновидящему вдохновение, в этих состояниях почти не было. Я заключаю это по тому, что лучшие из моих работ написаны не в подобных состояниях. Но литературе я не могу отдаться полностью, как это было бы необходимо, – не могу по разным причинам. Помимо моих семейных обстоятельств, я не мог бы существовать литературным трудом уже хотя бы потому, что долго работаю над своими вещами; кроме того, мое здоровье и моя натура не позволяют мне жить, полагаясь на – в лучшем случае – неопределенные заработки. Поэтому я стал чиновником в обществе социального страхования. Но эти две профессии никак не могут ужиться друг с другом и допустить, чтобы я был счастлив сразу с обеими. Малейшее счастье, доставляемое одной из них, оборачивается большим несчастьем в другой. Если я вечером написал что-то хорошее, я на следующий день на службе весь горю и ничего не могу делать. Эти метания из стороны в сторону становятся все более мучительными. На службе я внешне выполняю свои обязанности, но внутренние обязанности я не выполняю,

а каждая невыполненная внутренняя обязанность превращается в несчастье, и оно потом уже не покидает меня. И вот к этим двум стремлениям, которых мне никогда не примирить, мне теперь прибавить еще третье – теософию? Не будет ли она мешать двум другим, и не будут ли ей самой мешать эти другие? Смогу ли я, человек, столь несчастный уже и сейчас, довести всю троицу до конца? Я пришел, господин доктор, спросить Вас об этом, ибо чувствую, что, если Вы считаете меня способным, я действительно смогу принять все на себя».

Он слушал в высшей степени внимательно, по-видимому, совершенно не наблюдая за мною, полностью поглощенный моими словами. Время от времени кивал, что он, вероятно, считал вспомогательным средством для большей сосредоточенности. Вначале ему мешал небольшой насморк, у него текло из носа, он беспрерывно возился с носовым платком, усиленно работая пальцем в глубине каждой ноздри.

27 мая. Сегодня у тебя день рождения, но я даже не посылаю тебе обычной книги, ибо это было бы видимостью; в сущности, я ведь даже не в состоянии подарить тебе книгу. Только потому, что мне так необходимо сегодня хоть мгновение, будь то с помощью этой открытки, быть вблизи тебя, я пишу, и начал с жалобы я лишь затем, чтобы сразу быть узнанным.

15 августа. Прошедшее время, когда я не написал ни слова, для меня потому было так важно, что в школе плавания в Праге, в Королевском дворце и Черношицах я перестал стыдиться своего тела. Как поздно я наверстываю теперь, в двадцать восемь лет, свое воспитание, при забеге это назвали бы запоздалым стартом. И вред такого несчастья заключается, возможно, не в том, что не одерживаешь победы; последнее – лишь видимое, ясное здоровое зерно того в дальнейшем расплывающегося, становящегося безграничным несчастья, которое человека, намеревающегося обежать круг, загоняет внутрь этого круга. Впрочем, в это отчасти и счастливое время я заметил в себе также и многое другое и попытаюсь в ближайшие дни записать это.

20 августа. Мной владеет несчастная вера, что у меня нет времени даже для малейшей хорошей работы, ибо у меня действительно нет времени для сочинительства; для того, чтобы расшириться во все стороны света, как мне необходимо. А потом я снова начинаю верить, что мое путешествие удастся, что я стану восприимчивее, если расслаблюсь посредством писания, и потому делаю новую попытку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.